

На колу мочало

На колу мочало

Одной из характерных и, увы, неистребимых особенностей нашей культурной ситуации является необходимость время от времени заново объяснять, кто есть кто и что есть что. Историко-культурная амнезия — хоть и досадное, но неперемное условие протекания культурных процессов, и с этим приходится считаться. Что же делать, если все время приходится напоминать об очевидных вроде бы вещах.

Амнезия эта, как кажется, есть следствие глубоко укоренной в российском общественном сознании устной традиции. Может быть, это объясняется относительно поздней грамотностью населения. А может, поздняя грамотность объясняется этим. Так или иначе, но история здесь не написана и не прочитана. Она рассказана и услышана. Как рассказана, так и услышана. Как услышана, так и забыта. Устная традиция предполагает, как, например, в былинах, периодическую повторяемость ключевых элементов повествования. Для того чтобы хоть как-то запомнить. Для того чтобы хоть как-то пересказать другим.

Эта амнезия не есть болезнь. Это такое здоровье. Это такое специфическое восприятие времени, где все, что происходит, происходит практически одновременно. Так не бывает в истории, но так бывает в эпосе.

На одном из радиоканалов записывали интервью с неким писателем старшего поколения. Писатель говорил о многом, в том числе и о Пушкине. Видимо, о Пушкине он говорил настолько убедительно, что, когда писатель отговорил и ушел из студии, молодой звукооператор с некоторым трепетом спросил у ведущего программы: “Он что, знал Пушкина?” То, что для юноши-звукооператора все происшедшее до его рождения воспринимается как-то нелинейно, что все события прошлого в его сознании существуют практически синхронно, — это, конечно, минус. Но зато он знает слово “Пушкин”. И это несомненный плюс. Впрочем, “Пушкин” — настолько успешный бренд, что не знать его было бы просто неприлично.

С этими самыми брендами, ради удобства и мобильности их бытования лишены всякого содержательного наполнения, происходят иногда странные вещи. Знакомый художник рассказывал, как недавно ехал в такси. Разговорился, как обычно бывает, с водителем. Водитель спрашивает пассажира о его профессии. Художник честно говорит, что он художник. “Как Малевич?” — неожиданно спрашивает водитель. А ведь многие-многие десятилетия “художником” был Репин или на худой конец Айвазовский. А тут поди ж ты — Малевич. Победил-таки некогда опальный “Черный квадрат”. Отомстил-таки Ивану Грозному за его непедagogичный поступок. Впрочем, знал ли этот водитель о Малевиче что-либо, кроме его фамилии и того, что он был художником, никак не очевидно. С Пушкиным, впрочем, та же история.

Та же история и с историей вообще. На дворе есть кол. На колу мочало. Начинай сказку сначала.

Если вся школа закукарекает

Некоторое время назад, включив зачем-то телевизор, я наткнулся на дискуссию. Дискуссия была в самом разгаре. Речь там шла о свободе и нравственности. И так как-то там все время получалось, что свобода с нравственностью сочетаются плохо.

Особо активничала там некая дама. Судя по речам, а также горящим глазам и проповедническим интонациям, дама была

высокодуховная и патриотичная до невозможности. Дама делилась со зрителем некими откровениями наподобие того, что свободы без твердых нравственных понятий быть не может. Вот ведь удивила! Что за такая свобода сама по себе, риторически восклицала дама. Просто свобода, свобода вообще — это чушь собачья, говорила она. Бывает, мол, свобода убивать, а бывает свобода быть убитым. Ну и прочее в таком духе.

Это, в общем-то, правильно — свободу действительно каждый понимает по-своему. А вот нравственность, видимо, все понимают одинаково. То есть именно так, как ее понимает тетка из телевизора. Мне, впрочем, всегда были подозрительны люди, неумеренно много талдычащие о нравственности. Так же как, скажем, и о любви к родине.

Представления о нравственности не только индивидуальны, но и историчны. Я, представьте себе, не забыл те времена, когда глубоко безнравственными были короткие юбки, шорты, длинные волосы, драные джинсы, непонятная музыка и “дикие танцы”. Можно ли сказать, что человек, который оскорбляет мои эстетические и моральные представления своим внешним видом и бытовым поведением, ведет себя безнравственно по отношению ко мне и ограничивает мою свободу? Можно, почему нет.

Когда-то, очень давно, я зашел пообедать в какое-то кафе в центре города. Сел, сделал заказ. Пока ждал заказ, вынул из сумки книжку, раскрыл ее, стал читать. Подошла официантка и произнесла удивительную фразу. “У нас не читают”, — сказала она строго. “Чего это вдруг?” — изумился я. Официантка, к ее чести, сочла возможным снизить до того, чтобы растолковать мне вещи, которые, казалось бы, очевидны для каждого нормального человека. “Так это же кафе, — говорила она медленно и раздельно, как это делают при общении с глухими или иностранцами. — Люди сюда приходят от-дох-нуть. А тут кто-то вдруг читает! Вам вот было бы приятно?” Слово “читает” она произнесла с плохо скрываемой брезгливостью. Я понимаю, что сам по себе процесс чтения был для нее чем-то гадким, тягостным и предельно неуместным в приличной обстановке. Чтение не вызывало у нее никаких ассоциаций, кроме занудной и репрессивной школы, так и не выученного письма Татьяны к Онегину и неисправленной двойки по географии. Я, без-

условно, ее обидел, ибо человек, читающий в присутствии людей, похуже будет, чем человек, ковыряющийся вилкой в зубах. Просто уже хотя бы потому, что мотивы его совершенно необъяснимы. В общем, я поступил безнравственно и осознаю это.

Всегда кто-то кого-то обижает проявлением и утверждением собственной свободы. Но обиженный в свою очередь обижает обидчика отсутствием терпимости и неадекватными реакциями. Вспомним хотя бы историю с карикатурными битвами. Обижать других нехорошо, безнравственно. Но шумно и вздорно обижаться на все подряд не менее безнравственно, вот ведь в чем дело.

Время от времени нам назидательно повторяют, что демократия — это не вседозволенность, а рынок — не базар. Сами знаем, что не базар — за базар надо отвечать. А еще говорят: вот почему тебе можно, а другим нельзя? Почему, и другим можно, говоришь ты. Да другим такая глупость и в голову не взбредет, говорят тебе. А мне вот взбрела, говоришь ты, и на тебя обижаются.

Вот еще такую историю я очень люблю. Однажды мою хорошую знакомую вызвали в школу, где тогда учился ее сын. Вежливая, но строгая завуч завела ее в свой кабинет, плотно закрыла дверь и сказала: “Я хочу серьезно с вами поговорить”. Сердце матери тревожно дрогнуло. “Дело в том, — сказала завуч, — что ваш Саша на переменках громко кукарекает”. Слово “кукарекает” она произнесла с каким-то особым нажимом. От сердца отлегло. “Ну и что такого? — спросила легкомысленная мамаша. — На переменках же”. — “Вот это мне нравится! — дидактично воскликнула завуч. — Как это «ну и что»! А если завтра вся школа закукарекает?” Представив себе столь искрометную сцену, моя знакомая, забыв о необычайной важности момента, стала дико хохотать. “Ничего смешного я тут не вижу, — строго сказала педагогический работник. — Это вовсе не смешно”. Чем там кончилось дело, не помню, да это и не важно. Важно то, что вся школа, вопреки мрачным пророчествам завуча, так, кажется, и не закукарекала.

Но что правда, то правда — границы нашей свободы все время трутся, иногда высекая искры, о границы свободы чужой. Тут, в сущности, бессильны и этические, и даже юридические механизмы. Тут приходится опираться лишь на собственную нравственную и эстетическую интуицию. Ну и на опыт, разумеется. А опыт свободы едва ли представим без самой свободы.

Откуда что берется

Чисто теоретически в полном соответствии со священной для меня презумпцией невиновности я готов допустить, что различные наши высокие и не очень законодательные органы не щадя живота своего с раннего утра до позднего вечера заняты исключительно чем-то ужасно созидательным или хотя бы просто позитивным. Видимо, так оно и есть, если судить по тем многочисленным соревнующимся друг с другом в исключительной разумности законодательным инициативам, которые мне удастся вылавливать из новостей.

Однако все время получается так, что подавляющее большинство этих инициатив носят все больше запретительную или, пуще того, карательную окраску. Ну как-то так получается. Похоже на то, что коллективный депутатский разум всю свою интеллектуальную энергию расходует на решение вечной русской проблемы — чего бы такого еще запретить.

Корни этого явления, впрочем, залегают на довольно существенной глубине общественной российской традиции, закрепленной даже и на лингвистическом уровне.

Мой эстонский приятель рассказывал мне, как когда-то, уже очень давно, после окончания Тартуского университета его призвали в армию на два года. В качестве офицера. И он стал, как тогда это называли, двухгодичником.

Службу он проходил в Калининградской области, в каком-то маленьком городке. По-русски он говорил вполне свободно и литературно, потому что много читал. Но, будучи все-таки нерусским, знал не все русские слова, точнее, не все их значения. И, как оказалось, не знал он значений слов очень важных, особенно в контексте армейской жизни. Долгое время он, например, никак не мог уяснить онтологического смысла слова “не положено”, с которым он сталкивался постоянно. Это, как он понял далеко не сразу, был универсальный, абсолютно исчерпывающий, хотя и не слишком удовлетворяющий европейский разум моего друга ответ на все вопросы из разряда “почему нельзя то-то и то-то”. Почему, почему. Не положено, сказали же тебе! Вопрос о том, почему именно “не положено”, либо вовсе игнорировался,

либо отзывался иррациональным, тавтологическим, но по-своему убедительным ответом: “Потому что не положено”.

Наши законодатели конечно же не звери какие-нибудь. Не садисты и не палачи. Они ведут себя, можно даже сказать, вполне адекватно в условиях полного отсутствия самого, пожалуй, насущно важного запрета — запрета запрещать. А потому так лихо гуляют по буфету.

Войдя во вкус, давая волю своему врожденному хватательно-заградительному инстинкту, остановиться они не в состоянии. Да и зачем?

Слегка отшумели страсти по поводу скандального, противоречащего конституционным нормам и международному праву, дикарского гомофобского закона. И вот уже всерьез обсуждается новость о том, что “депутаты Мосгордумы собираются разработать городской закон, запрещающий пропаганду сексуальных отношений среди несовершеннолетних”.

Дело не в том, насколько реальна упомянутая пропаганда. Мне, например, такая пропаганда никогда в глаза не бросалась. Более того, я как-то всегда был уверен, что секс, хоть разнополый, хоть однополый, хоть взрослый, хоть подростковый, никогда в особой пропаганде не нуждался. Во времена моей юности никакой такой “пропаганды” уж точно не было. И настолько ее не было, что некоторые чистые души даже были уверены, что его в СССР и вовсе нет. А он, вообразите себе, был.

Дело вообще в другом. А именно в том, что никогда не известно, что придет в голову нашим неугомонным законодателям считать таковой пропагандой. И ладно бы еще законодателям. Есть же еще и исполнители подобных законов. Есть еще и неисчислимая рать надзирателей, плодящихся на просторах нашего запретократического государства в геометрической прогрессии. А уж они-то свои буйные фантазии точно обуздывать не приучены.

Я вот легко представляю себе, что таковой “пропагандой” легко может стать, например, то, что когда-то называлось половым воспитанием подрастающего поколения, а любой человек, по большому секрету сообщивший этому самому подрастающему поколению, откуда оно, это поколение, взялось, может запросто оказаться правонарушителем.

Может быть, и правда не стоит рассказывать детям, откуда они берутся? Тем более что берутся они, как известно, из совершенно разных источников.

Обстоятельства рождения у всех конечно же разные. Кого-то, как всем известно, приносят аисты. Кого-то находят между листками капусты, поближе к кочерыжке. Кому-то покупают братиков и сестричек в специализированных магазинах. Одна барышня, историческая достоверность которой до сих пор оспаривается неисправимыми скептиками, возникла буквально из соленой морской пены. Бывает даже и так, что кого-то извлекают из маминого животика. Всякое бывает. И это все более или менее счастливые случаи.

Но как же сокрушительно много тех, кто самозародился под половой тряпкой, валяющейся в углу казарменного сортира. Или между прутьями решетки канализационного люка. Или в куче обслюявленной семечной шелухи на крыльце окраинного барака.

Как же они узнаваемы по голосам и выражениям лиц! Как же они хорошо заметны! Особенно тогда, когда они неудержимо тянутся вверх, как тянутся вверх худосочные, но долговязые помоечные цветы.

Это я, конечно же, не про наших уважаемых, всенародно избранных депутатов. Впрочем, такое и в голову никому прийти не может. Не правда ли?

В один прекрасный день

Когда-то очерки очеркистов начинались так: “Ничто не предвещало беды. Светило по-весеннему яркое солнце, принялись за влажную уборку родного города поливальные машины, хозяйки с кошелками и корзинками с утра пораньше отправились за покупками, потешные в своей важности малыши спешили в школу...” Ну и так далее вплоть до слов “и тут произошло страшное”. Такими надежно клишированными художественными средствами описывалось обычно все то, что гораздо позже получит нерусское название “саспенс”.

Но дело-то в том, что все это бывает на самом деле.

Ты выходишь из дому, почему-то уверенный, что сегодня все будет хорошо. И уже хорошо. Вот в лифте с тобой приветливо